

ПЕРНАТЫЕ ЗЭКИ

Июльский зной стоял над тундрой уже неделю.

Хотя солнце заполярное в это время и не заходит вовсе, висит сутки насквозь недремлющим божьим оком, однако же по ночам притихает тундра, прохладнеет. Прячется живность куда-то, умолкает на несколько часов, даже гнус не так донимает. И поэтому Жора норовил загрузиться провиантом для отряда как можно пораньше, чтобы от лагпункта шахты к палаткам проскочить по утреннему холодку.

В этот раз не вышло. Похмельный кладовщик двигался черепахой, соображал туго, подолгу смотрел в накладную без мысли на лице, и тронуться в путь им с Эльвирой пришлось уже по полной жаре. Хлюпала под эльвириными копытами оттаявшая поверху вечная мерзлота, жарило солнце, переливчатыми густыми клубами над лошадьёю и над Жорой роилось, тонко звеня, ненасытное комарьё.

И всё-таки этим летом Жоре Супруненко, «бытовик» с шестилетним сроком, пофартило неслыханно. Отобрали его из шахтеров «Капитальной» в помощь отряду вольнонаёмных геологов на изыскание трассы будущей железной дороги от Воркуты на юг. Назрела нужда в такой дороге – за короткую северную «навигацию» баржами по Усе добытый за зиму уголёк вывозить не успевали. Сами изыскатели – геологи, геодезисты – из Ленинграда, вольные, а в подмогу им – местные зэки-счастливчики с шахты «Капитальной». Из-под земли, из стылой мерзлоты, после гнетущей тьмы, сырости и угольной пыли – свежий воздух, тундра до горизонта, солнышко круглые сутки (лето!) и работёнка несравнимо полегче: треноги с приборами или рюкзаки с образцами по тундре за изыскателями таскать, рейку держать,

переставлять с места на место – ну, на подхвате, в общем. Нормально. Жить можно.

На такое ответственное бесконвойное дело кого попало не пошлют, отбирали побезобиднее, с «детскими» сроками, 5-7 лет, не более. Жора соответствовал, и ещё семерых таких отобрали тогда с «Капитальной» в этот отряд. А задача была – изыскания под строительство мостового перехода через реку Воркуту для той самой железнодорожной магистрали. Ближнего от Воркуты перехода, и потому не уж вовсе в тундре, а недалеко от Рудника, и от «родной» шахты, и от неусыпного ока «родного» же опер-чеккистского отдела.

И всё же – бесконвойно! А это – почти свобода, пусть ненадолго, но дышится вовсе по-другому...

Как бывшему крестьянину поручили Жоре старую лагерную кобылу с экзотической кличкой Эльвира, и в чём состояла служба: возить из лагпункта продукты для отряда. И для эков своих, и для вольных изыскателей, здесь разницы не делали, вроде приравнивали, и это тоже была как бы частица свободы...

На берегу реки – четыре палатки, каждая – под своё. В одной – спецы из Питера, в другой – оборудование экспедиции, приборы, документация в спец ящиках, инструмент и прочее подсобное всё, ещё в двух – работяги ээки. Обычная полевая экспедиция – ни тебе конвоя, ни зоны, ни шмонов по два раза на день, ни перекличек. Живи и радуйся...

Эльвира понуро брела по чавкающей кочковатой тропе, ею же за это время протоптанной, кивала головой в такт шагам, отфыркивалась недовольно – комары донимали. Жора теперь уж не торопился, прохладное время упущено всё равно, да и на таборе уже нет никого, и до вечера не будет. Отряд давно в тундре, один отец Иннокентий там при палатках. По утрянке накормил всех варевом своим, проводил на работу и хлопочет по хозяйству, ни минуты в покое не сидит, такой человек. Жоре, понятно, еду оставили, остыла, небось, однако не беда – разогреем, было б что греть. Да и ведь не на зоне, не баланда пустая, вот ещё в чём удача им с этой экспедицией. Шамовка досыта, да какая! Отец Иннокентий – кашевар что надо, понаторел в лагерях за время отсидки ещё до Воркуты – в Абези будто бы сидел поначалу...

Брели они с Эльвирой мимо озерца в ложбинке меж двух бугров, где-то на полпути до табора, и брызнули из-под ног почти, из мелкотравья на срезе воды – жёлтые комочки, пушистые, шустрые, как кто лимонами сыпанул по воде. Гусята

дикие. Оглядел Жора тундру вокруг – матери-гусыни нигде не видно. – Тпру-у! – Эльвире. И полез в воду.

Отловил всех, шестеро набралось. Подумал – всё равно пропадут без мамыши, не сова полярная, так песец порешит. А отцу Иннокентию подарок будет изрядный. Уж больно любит ба-тюшка зверьё всякое, трепетно относится. Как-то у костра рассказывал им про Яшку-ворона, дак ажно светился весь, вспоми-ная. С малыша вырос в зоне Яшка этот – там ещё, в Абези. То ли из гнезда выпал, то ли повредился как-то птенцом ещё, но подобрали его зэки на лесоповале, принесли из тайги в жилую зону. Отец Иннокентий стал этому Яшке и отцом, и матерью, обижать не давал, кормил от пайки своей, особенно поначалу. А потом подрос Яшка, летать научился, любимцем всей зоны стал, все подкармливали его. Не боялся никого, в руки шёл, на плечо садился, кланчил еду у всех. Все давали. Но ба-тюшку – за главного признавал, пешком по зоне за ним ходил. И хотя летал уже хорошо, однако за колючку в тайгу не отлучался, жил вну-три, будто понимал, чем закон грозит за «побег».

А главное – был он вором, самым настоящим, за что осо-бенно его блатари привечали. Воровал всё – от ложек (очень уж ложки любил) до всяких тряпок, бумажек и даже писем, и гаскал добычу в старое брошенное гнездо на здоровенной сосне. Приходилось отряжать кто помоложе и ловчее – добывать всё это обратно. Главным образом письма, ложки не так. Ложки прощали.

Слушали тогда отца Иннокентия у костра воркутинские зэки и вольные спецы-питеряне, улыбались по-доброму, любили уже и они этого Яшку-ворона, и ощущалось явственно, как дорого ба-тюшке живое дыхание – любое, от букашки до них самих, до человека. А под конец и насмешил он всех этим Яшкой своим. Любопытный, забрёл как-то воронёнок в нужник на зоне и... не удержался на очке, провалился внутрь, орать начал из ямы. Услыхали зэки панические эти вопли, сбежались, мигом свали-ли домик над ямой, разобрали доски, вырвался Яшка на свобо-ду весь в дерьме. И тут же, не размышляя долго, проковылял прямо к бочке с питьевой водой, и плескаться давай, отмывать-ся. Восторгу зэков предела не было, хотя и бочку теперь драить предстояло, и воду завозить лишний раз! И даже сейчас, вспо-миная, ба-тюшка сам опять смеялся до слёз...

С этими гусятами, как Жора и думал, получился подарок отцу Иннокентию. Однако и казус вышел. Вытряхнул Жора из

мешка свою добычу – батюшке показать, посыпались с писком комочки жёлтые, а тут Эльвира возьми да и переступи с ноги на ногу, и одного прищемила. Запищал малыш истошным писком, отец Иннокентий подхватил его на руки, осмотрел, общупал. Вроде живой, только лапка одна, похоже, повредилась, хотя и не сильно. Пустил в травку – прихрамывает. А так ничего, живенький.

Вечером собрались полевики все на табор, для них тоже стали в радость и в развлечение эти малыши. В руках разглядывали, смеялись: крохи такие, а всё как у больших – и носик гусиный, плоский, и лапки перепончатые...

Всем отрядом соорудили загон из подручных дощатых отходов, разобранных ящиков и прочего, что под руку легло, и стали они жить, эти шестеро, и расти. Отца Иннокентия быстро признали за родителя, он ведь всё время на глазах, хозяйничает на таборе, остальные в тундре целыми днями, на работе, только к вечеру собираются, когда уж дремлет выводок. Первое время пожили они в загоне, а потом и надобность в нём миновала – за батюшкой, как за гусыней, куда он, туда и они, гуськом вперевалочку. Росли быстро, и уже характеры стали определяться: кто драчлив и нахален, а кто тих, кто пошустрее, а кто нетороплив, у всех разное. Понять у гусей, даже взрослых, мальчик или девочка – на глаз невозможно, и всё же двух выделили. Самого горластого, длинношеего и покрупнее прочих Гошей назвали, в Жорину честь – тоже, мол, Георгием пусть будет, он ведь их нашёл. А хроменькую, самую маленькую (может, потому и хуже росла, что ущербная) решили считать девочкой, и отец Иннокентий сам Леночкой окрестил.

– Хеленос – «свет» по-эллински, – сказал он. – Елена. Светлая. Наречем её Леночкой.

Остальных – не различить, да и не заботились этим мужики, важно ли? Так и росли безымянными. Люди привыкли к ним, они – к людям, совсем «домашними» стали. Отлетали в тундру на озера или на реку, кормились там, возвращались, важно ходили по табору, гогоча, и даже после кормёжки все топтались вокруг отца Иннокентия, требуя добавки, «премблюда» по-зэксовски. Приучил, добрая душа.

Жора вообще удивлялся, как это кроткий такой и добрый человек мог кому-то настолько досадить, чтоб упекли в лагерь. Оказалось, просто: из-за Демьяна Бедного. Очень уж обидел тот батюшку безбожным стихом своим, где призывал «для блага советской страны – все иконы долой со стены!» И высказался где-

то святой отец, да ещё и на Есенина сослался, тогда опального и запрещённого, который обсмеял в свое время «агитки Бедного Демьяна». Батюшка знал и любил Есенина за душу его русскую, православную и не скрывал этого. Хватило, чтоб упечь...

Из всех гусят хроменькая Леночка любимицей была у отца Иннокентия. У неё и голосок-то был не такой резкий, как у других, мягкий и потише, не то что у Гошки и прочей публики. Те орали и требовали, а Леночка вперёд не толкалась, шейку за «пайкой» не тянула, в сторонке погогатывала скромно. Батюшка всех наделит, а потом с ней отдельно, присядет на корточки и кормит, ей даже и доставалось больше. Остальных тогда отгонял. Возмущались.

Вечерами, поужинав, курили у костра, весь отряд собирался. По палаткам торопиться не хотелось – тут, у костра, и от комаров полегче, да и дневные дела обсудить, завтрашнюю работу разметить, уточнить каждому. Отец Иннокентий не курил, однако сидел со всеми, отдыхал от дневной суеты, и вот что занятно было: гуси, угомнясь, кучкой дремали в сторонке, где загон раньше был (привычное место), а Леночка – возле батюшки, как собачонка. Где он присядет, там и она рядышком дремлет, он встанет – за дровами отойти, и она встрепенётся, за ним следом проковыляет, туда и назад, и снова притихнет рядом, большую лапку подождёт, на одной стоит. Вначале удивлялись этой преданности, потом привыкли – такой человек, светлая душа, животное это чувствует. Яшка-ворон тоже ведь за отца родного его почитал, следом так же ходил. Такой человек...

Жора работал в тундре наравне со всеми – кроме дней, когда приспевала пора пополнять запасы, и тогда уходил он по знакомой тропе на лагпункт, и уже с Эльвирой и грузом возвращался в отряд. Эльвиру на таборе держать было нельзя, тундровый гнус – комарьё, мошка, а пуще всего слепни-оводы – донимали кобылу до бешенства. Приходилось каждый раз отводить её обратно в лагпункт на конюшню, до следующей поездки. К тому же гуси очень её не любили. И даже кроткая Леночка, в компании с остальными, вытягивала шею, шипела и норовила щипнуть за ногу. Эльвира фыркала и прижимала уши.

– Батюшка, отгоните вашу банду! – смеялся Жора, когда кормил, бывало, Эльвиру высевами, а гуси, со всех сторон обступя, шипели на неё. – Видите, переступает, нервничает, опять ведь поломают кого-нибудь!

– А ну кыш, нехристи! – вмешивался отец Иннокентий с хвостистой в руке. – Кыш, кыш, мало вам одной убогонькой, прости Господи! Кыш!

Понять эту вражду не могли. Начальник отряда Яков Ива-
ныч – инженер, кандидат наук (правда, геологических, но всё-
таки!) объяснял, что Эльвира для них – необычный зверь, а по-
тому опасный подсознательно, наследственно от предков. Вот и
реакция такая, оборонительная, на всякий случай. Однако отец
Иннокентий полагал иначе: они помнят, что Леночку покалечи-
ла. Тем более – оленя в тундре гусь не боится, пасётся рядом,
а лошадь – чем не олень, только что без рогов. Нет, считал ба-
тюшка, наследственной опаски здесь быть не может.

– Неужели помнят? – удивлялись работяги. – Совсем ведь
малыши были!

– Помнят. Гусь – умная птица. В оное время гуси, как ведомо
из истории, Рим спасли, – изъяснял отец Иннокентий.

– Нас вряд ли спасут, – вздыхал Жора.

– На всё воля Божья...

Однако **земная** бесконвойная воля неотвратимо приближа-
лась к концу. Заполярный круглосуточный день хотя и держался
пока, но уступал всё же, уступал постепенно. Солнце ночами
ныряло за горизонт всё надольше, зачастили ночные замороз-
ки, и дважды уже срывался снежок. Для Заполярья это нормаль-
но – снег в сентябре, бывает и раньше, среди лета, однако год
выдался в этом смысле удачный, позволял выполнить весь объ-
ём изысканий, который наметили.

Оставалось отработать в тундре несколько последних мар-
шрутов, что-то ещё поуточнить недопонятое, спорное, и уже
можно бы сворачиваться потихоньку. По вечерам после ужина
теперь не засиживались у костра спецы ленинградские, уходили
в палатку и подолгу сидели там над расчётами и чертежами,
разложенными на вьючных ящиках, спорили, уточняли, оформ-
ляли полевые материалы.

Над палатками всё чаще проходили на юг косяки гусей, гого-
тали там, в поднебесье, и «отрядные» гуси нервничали, крутили
головами, вглядываясь в небо, откликались тревожно.

– Пора и вам, – говорил отец Иннокентий, скармливая им
очередную «пайку». – Пора, пора. Против Божьего промысла не
устоять.

И однажды в пригнетённый пасмурный день низко над тун-
дрой шла гусяная стая, вышла точно на палатки и шархнулась,

было, с испуганным гогомом, и эти – свои, «отрядные» – ответили, и те, вольные, услышали и увидели их, и сделали круг, и тогда не утерпели, поднялись в воздух и эти, привыкшие к людям, и встроились в стаю, и ушли с ними, растворились в тумане над южным бугром. И зэки смотрели им вслед, пока не растворились они.

– Храни вас Господь, – сказал негромко отец Иннокентий и перекрестился.

Как-то особенно тихо стало вдруг у палаток, и грустно – будто условно-досрочно уходят на волю друзья, а ты остаёшься, и сроку твоему конца не видать. Всем в одночасье курить захотелось, молча сбросились к костру, молча курили на корточках, и только потрескивал хворост в огне и негромко бубнили геологи в инженерской палатке.

– Глянь, – чуть не шёпотом сказал кто-то. И громче: – Братва, гляди!

Подняли головы – над притихшей, по-осеннему пёстрой тундрой от южного бугра летел на палатки гусь. И ещё не долетел, а поняли – Леночка! По провисающей лапке, такой знакомой, поняли. А она сделала петлю небольшую, чтоб против ветра, и га-га-га! – притундрилась в привычном месте, где загон раньше был, и пешком приковыляла вплотную к сидящим.

– Вернулась, – говорили мужики и тянулись погладить, она уворачивала голову, пригибалась.

– Не понадеялась на увечную лапку...

– При людях оно надёжней...

– Да уж... пропасть не дадут...

– Ага, – возразил кто-то. – Нас обратно в шахту. А её куда?

– В зону возьмём. При батюшке будет, как Яшка-ворон. Точно, святой отец? Тебе не впервой пернатых пасти.

– Хорошо бы, – улыбался отец Иннокентий, приобняв гусыню и глядя свободной рукой по упругой шее, по крыльям, по спине. – Однако дозvoлят ли...

А через три дня сворачивали лагерь, грузили на нарты палатки, приборы и прочее имущество экспедиции. Кроме Эльвиры пригнали с Рудника ещё лошадей, чтоб уж вывезти сразу всё, что забирали с собой в Ленинград геологи. Они торопились – им ещё предстояло успеть проскочить водою до Усть-Усы и Печоры, пока «навигацию» усинскую льдом не затёрло. Сентябрь всё-таки.

– Ну, ребята, счастливо оставаться, – говорил Яков Иваныч, пожимая корявые зэковские ладони. – Не поминайте лихом.

– И вам добраться, гражданин начальник.

– Ну вот, опять, – огорчился хороший мужик Яков Иваныч. – Я же просил... по имени-отчеству! Ну какой я вам гражданин начальник, что ж вы не привыкнете никак!

– Дак впору и отвыкать уж, гражданин... Яков Иваныч! Кончилась наша воля. Вы вот сейчас отбудете, а за нами к вечеру – конвой, снова в зону. Так что уж лучше и не привыкать.

– Да, вы правы... – ещё более огорчился добрый начальник. – Тут уж... что уж... Ничего не поделаешь...

Караван отъехал по тропе на Рудник, эки смотрели вслед. Задувал ветер с севера, пригибал траву, топорщил перья у Леночки – она тоже со всеми вместе провожала геологов, жалась к ногам батюшки, погогатывала, будто тоже прощалась. Нужно было ещё всё оставшееся собрать, лагерное, увязать и упаковать к приходу конвоя, чтобы уж не задерживаться потом. Их предупредили быть в готовности, конвой не любит промедлений за пределами зоны...

А потом это всё случилось, неотвратимо и быстро, и не сразу поняли даже, что так может быть, и что уже ничего не поправить.

– Тю! – удивился начальник конвоя. – А оцэ шо такэ! Звэрынэць тут розвэлы! – И он уже хватко держал Леночку за шею, она била крыльями по земле, пока он тащил её к кострищу, где увидел топор, и дотащил, и подхватил топор, и рубанул...

Дернулся было наперерез отец Иннокентий, но эки удержали его, понимая – бесполезно, только срок добавят, если сейчас вмешаться. А то и шлёпнут – тундра, попытка к бегству, никому ничего не будет. Постояли, застыв, и опять разбрелись – собираться.

Они старались не смотреть, как щипал гусыню конвоир, как варили её в котле над костром – в том самом котле, из которого кормил их всё лето отец Иннокентий. А сам батюшка ушёл на край табора, сел там и сидел молча, лицом в тундру, к южному бугру, откуда вернулась Леночка сюда, к людям, на свою погибель. Так и просидел, до самого отхода.

Их звали конвоиры «к столу», но никто не пошёл. Каждый молча что-то делал своё, увязывал-перевязывал, хотя всё давно было увязано и готово в дорогу.

– Нэ хочэтэ? – смеялся начальник конвоя. – Ну, як хочэтэ. У зоны такого супчика нэ будэ. Вирно, хлопци? Гы-гы-гы!

– Гы-гы-гы, – с охотой вторили «хлопци», обгладывая гусиные кости.

Низко и быстро шли рваные тучи над тундрой, ветер трепыхал незакреплённый на нартах лоскут брезента, и не был он тёплым уже, студёный был ветер и резкий, и пахло грядущим снегом. И Жора вдруг отчётливо понял, что уже не была для него эта воля такой желанной, и уже лучше бы в зону, в тёплый барак, на свои привычные нары, к своей бригаде, к своему пусть «детскому», но ещё такому долгому сроку. И глядя на осунувшегося, враз постаревшего отца Иннокентия, ещё подумал вдруг Жора, что пернатый зэк Яшка-ворон всё же оказался удачливее. Он был несъедобен...

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

В воскресенье, часов в одиннадцать, по линейной связи пришло сообщение, что на восьмом околотке обходчик Митрохин убивает жену. Не «убил», а именно «убивает», будто дело это долгое, затяжное, и если поторопиться, то можно и помешать ещё. Так подумала Лиза в первый момент, когда со станции прибежала растрёпанная Райка-Шалава, дежурившая там в этот день у аппарата.

Лиза уже около года была председателем Сейдинского сельсовета. Муж её Петя, бывший черноморский моряк, а теперь – механик совхоза «Победа», отлучился, как назло, в Воркуту за какими-то запчастями, а участковый дядя Миша (так звали его все на Сейде, и она тоже) который день лежит с открывшимся фронтальным ранением, ждёт решения медиков – отправят или нет в город на операцию. Выходило, что ей одной надо ехать, спасти митрохинскую жену.

Ближайший поезд на Воркуту, московский скорый, стоит на Сейде две минуты, до него оставалось меньше полчаса. Лиза быстренько собралась, нужно было ещё забежать к дяде Мише – может, посоветует что. Но оказалось, что его решили, наконец, везти в Воркуту именно этим поездом, так что у них получилось время на разговор почти целый час – от Сейды до Хановея, где жил с семьей этот убийца Митрохин.

Дядя Миша лежал в купе на нижней полке, головой на коленях сопровождающей медсестрички, перепуганной от ответственности. Лежал неловко, круто согнувшись, морщился при толчках, говорил через боль, с трудом.

– Вот же, незадача... Не ко времени я... Так не ко времени... Ты, Лизавета, вот чего... Главное – не бойся... Я этого... Митрохина знаю. С ним ежепи покруче тогда тушвется мапость. Хотя

мужик крепкий... Так ты того... не робей, ага? Неладно, что сам, видишь, не могу... Да... Ты, значит, к котласскому выходи... Ране-то поездов назад нету... Я ребятам скажу... М-м-м, чтоб тебя!..

– Вы лежите, лежите, дядя Миша! – захопотала медсестра. – Вам же нельзя!

– Ничего, дочка, ничего... Терпимо, ничего. Так я, Лизавета, как в Воркуту прибудем, сразу... скажу ребятам... ЛОМ¹ на вокзале, я их там знаю всех... при мне выросли... Этим же котласским выедут к тебе... К платформе выходи... когда... значит... с Митрохиным этим разберёшься... Только не робей, говорю... Построже с ним... Вообще-то он ничего, нехудой вроде мужик, особо-то не должен... Хотя... Десять лет в лагере... Но я ребят пришлю... Тебе только продержаться до котласского...

Легко сказать, подумала Лиза. Однако кивала утвердительно, чтоб ещё больше не огорчить дядю Мишу. Продержаться целых шесть часов против здорового мужика с топором (Райка сказала – с топором гоняется за женой). Десять лет в лагере... Что она против такого, девчонка совсем, двадцать четыре года, даром что председательша... Временами ей кажется, что это её председательство – так, недоразумение. Они с Петей сразу после свадьбы решили махнуть на Север, подзаработать на новую хату, да и вообще на жизнь дальнейшую. Слух был, что в Воркуте – «гроши самашедши». На Украине остались её родители, Петя – сирота, вырос в детдоме. «В прыймах», то есть в тёщином доме, жить не захотел. Однако до Воркуты не доехали – в поезде встретился директор совхоза «Победа», возвращался из отпуска. Ему механик был нужен, а Петя хороший механик. Правда, судовой, но директора это не смутило: «Дизель – он и в Африке дизель». Сошли с председателем на Сейде, да тут и обосновались, до Воркуты – всего семьдесят километров с хвостиком, два часа поездом. Лиза года полтора проработала дояркой, в передовиках ходила, а потом вот – избрали. Боязно поначалу было, конечно, да и Петя ворчал: власть в собственной хате, покоя ни днем, ни ночью, и вообще, мол, не бабье это дело. Однако смирился, деваться некуда, и даже помогать стал, когда сильно туго приходилось. Вот как сейчас. Пьют мужики, жён, а то и детей, бывает, поколачивают – день, ночь, а иди разнимай. У Пети это легко получалось: встряхнёт за грудку раз, другой – полный порядок. Лиза тоже постепенно вошла в роль, научилась вызывать провинившихся в сельсовет, строго пропесочивать, доходило до неё, что в авторитете они с Петром. «Вот

¹ ЛОМ – личный отдел милиции.

Майдебуре пожалуюсь, узнаешь тогда!» И при этом неважно, кем из них страшат, ею или Петей – фамилия такая, по родам не меняется. Майдебура и Майдебура...

В этот раз не было Пети рядом, и шагнула она с поезда в тревожную неизвестность, и одна была в тот момент мысль, главное напутствие дяди Миши: «Не робей»! Совладать бы...

Отгрохотал ушедший на Воркуту скорый поезд. Заснеженный полустанок, тундра кругом. Очень тихо, будто вообще живых нету. Может, убил уже... Сразу как-то холодно стало и очень страшно. Одна здесь на всю тундру, поезд с дядей Мишей, с людьми – не вернуть, ничего вообще не изменить уже, что будет, то будет, надо идти.

И Лиза пошла. По глубокой тропинке, среди сугробов, будто по снежному коридору – к жилому барaku обходчика. Уже увидела она, что там из трубы идёт дым, отлегло немножко – значит, кто-то живой. Наполовину занесённый снегом щитовой станционный домик приютился справа, к нему тропинка-канавка разветвлялась, но дыма из трубы не было. Однако именно оттуда выбежала к ней жена Митрохина, зарёванная, с ребёнком в охапку, наспех завернутым в одеяло. И рассказала, захлёбываясь и сморкаясь – да, пьяный, гонялся с топором, ребёнка отнимал, кричал «плохая мать», грозился убить. В дежурке вот сижу, затопить боюсь, дрова-то вон где, у дома в сарае, страшно туда. И раньше бывало – как выпьет, ножом грозился. Я, дура, нож-то нынче спрятала, так он – с топором. Озверел совсем. Главное – ни за что! Здоровый ребёнок – «вези в больницу», и всё. Ну! Вези, и всё. Просто не знаю... Прежде ведь нормально жили, а как Витька родился...

Так, подумала Лиза, ничего страшного тут пока не случилось. И по мере того, как слушала она эту бурную скороговорку митрохинской жены, начальное оцепенение страха потихоньку отпускало, душа её как бы собралась в кулачок, отвердела, налилась решительной злостью.

– Ты погоди здесь, Катерина, – сказала она. – Не ходи пока. Я позову потом.

– Так убьёт же он вас, Елизавета Матвеевна! Не ходите, Христом-богом прошу! Убьёт!

– Ничего, не убьёт. За что ему меня убивать? Ты ребёночка-то заверни получше, простудишь ещё. Иди пока в дежурку. Иди. Позову.

Лиза впервые была здесь, на восьмом околотке, раньше не случалось нужды специально ехать сюда: если что и бывало тут

у Митрохиных, дядя Миша разбирался, её не посвящал. Ребёнка родили – зарегистрировала, так они сами приезжали тогда в сельсовет. Николай, Екатерина, – это она запомнила. Вот и всё знакомство.

Как ни заняты были мысли предстоящей встречей, а машинально отметила Лиза, поднимаясь по ступенькам, ажурные наличники на окнах, и точёные перила крыльца, и дверь с резной филёночной... На почерневшей от времени и стихий барачно-щитовой хибаре, которая строилась-то ещё в лагерные времена, смотрелось всё это странно...

Митрохин сидел за столом посреди комнаты. На столе – нечисто, мусорно. И среди водочных бутылок, консервных банок с торчащими полукружьями взрезанных крышек, среди алюминиевых мисок с едой какой-то полузасохшей – топор на столе. Тот самый, видимо...

– А, советская власть! – будто вовсе не удивился Митрохин. Будто ждал. И был, казалось, трезв. – Мусоров привела? Ну чо? – он весело оскалился, зубы блеснули металлом. – Будем встречать.

И опустил широченную ладонь на топорище.

– Никого я не привела.

Лиза прислонилась к дверному косяку: ноги опять обмякли. И уже снова не было ни злости, ни решимости. Один страх – тягучий, с перехватом дыхания.

– Как? – удивился Митрохин. – Одна, что ли?

– Одна, – хрипло сказала Лиза. – А зачем мне...

– Ну-у, – восхищённо протянул Митрохин, убрал руку с топора, взял бутылку. – Проходи, садись. Выпьем, потолкуем.

Лиза очень не любила водку и не пила её вовсе, разве что в праздник за компанию, через силу, пригубить могла. Петя поначалу обижался, но потом быстро понял, что это хорошо – непьющая жена, и уже перед друзьями заступался, когда заставляли: «Ну не лежит душа у человека, зачем силком-то!..»

– Что ж, выпьем, – неожиданно для себя самой бодро сказала Лиза. Прошла к столу, сбросила шубу на фигурную спинку стула. – Не откажусь. Наливай.

Митрохин остро глянул на неё, усмехнулся. Налил по полному стакану. Поднял свой.

– За что пьем?

– За глупость твою! – Лиза вспомнила дядимишино «построже с ним!» и, не успев ещё вовсе преодолеть страх, пошла в атаку: – Что ж ты делаешь?!

– А что я делаю? Сижу вот, водку с тобой пью. – Он глотком опрокинул стакан. – Выходной у меня.

– Не понимаешь, да?

Лиза говорила напористо, зло и, разогнавшись в этом напоре своём, сгоряча тоже махом хватанула этой самой водки чуть ли не полстакана. Это сбило её с ритма. И пока она кашляла, хрипела и вытирала слезы, Митрохин смотрел на неё с усмешкой, потом взял топор, отхватил им от буханки горбушку, протянул.

– На, занюхай. И не спеши, водки у меня много, не обделю.

– При чём здесь... – Лиза задыхнулась то ли от водки, то ли от возмущения. – При чём здесь во-о-одка! Ты что, не понимаешь, что по лезвию ходишь? Тебе ж тихо надо... Упекут ведь снова, дай только повод! А ты...

– Ну, ну, – Митрохин, слушая, машинально резал хлеб топором, именно резал, как ножом. Топор был плотницкий, бритвенно-острый, таким не то что напильники – карандаши чинить можно. Нож, спрятанный Катериной, сейчас казался более оружием, чем этот мирный топор, режущий хлеб. – Воспитывать приехала? Я старый, детка. Поздно уже меня воспитывать.

– Я тебе не детка!!! – Лиза опять ничего не боялась, она была сейчас уже не Лиза, а председатель сельсовета. – Выгнал бабу с дитём на мороз, а сам сидишь здесь, в тепле, водку жрёшь! Ребенок-то при чём? Угробить хочешь? Так рожать не надо было, если мешает!

И она опрокинула в рот вторую половину стакана. В этот раз прошло глаже, без кашля. Подняла глаза... и попятилась вместе со стулом. Митрохин с искаженным лицом медленно приподнялся над столом.

– Што-о? – хрипло выдохнул он. – Угробить? Я? Да ты что!! – Он хряснул по столу кулачищем, Лиза вздрогнула, звякнули миски, подпрыгнула и покатилась бутылка. – Ты соображаешь, что лепишь? Мне – мешает?! Да я за него, если хочешь знать... Я за него...

Похоже, он начинал пьянеть.

Лиза мигом притихла, опять стала Лизой, никакой не властью. Она поняла, что зацепила нечто особо болезненное, опасное что-то. Примирительно спросила:

– Зачем выгнал на мороз-то? Простудит ведь она пацана. В одном одеяльце...

– Да не выгонял я! – Он постучал кулаком в грудь, как в бочку пустую. – Она, с-сука, сама, веришь, нет? Чуть что – пацана в

охапку и в дежурку. Знает, как пуще уязвить... Знает – раз Витька с ней, позову скоро, характер не выдержу... Ну, я ей... Ладно, сейчас... Сама увидишь. Сейчас...

Грузный, ещё отяжелевший от гнева и водки, он уже шагнул было к двери, однако Лиза вскочила, преградила дорогу, не успев даже подумать, что это опасно. Женским чутьем поняла – **ей** он не причинит вреда. Совсем осмелев, подошла вплотную, положила ему ладони на плечи, заглянула в глаза.

– Сядь, Николай. Давай ещё выпьем.

И он подчинился. Поглядывая на неё из-под бровей, зубами распечатал новую бутылку, плеснул в стаканы – уже не проверял «на вшивость», как поначалу, налил понемногу. А Лиза видела в окно – задымила труба в станционной дежурке. Воспользовалась Катерина моментом, дров из сарая принесла. Не замёрзнут. Теперь можно не торопиться.

Митрохин к окошку сидел спиной.

Выпили.

– Ты закусывай, закусывай, – сказал Митрохин, подвигая ей чёрную сковородку с заплывшей холодным жиром тушёнкой. Вилка на столе не было, он вытер грязную алюминиевую ложку о рукав свитера повыше локтя, сунул в этот жир, в эту тушёнку. – Бери, бери, не стесняйся. А то ведь схмелеешь, всю политучёбу сорвёшь...

– Эх, ты, – укорила Лиза. – С тобой по-людски, а ты – политучёба... – Она взяла ложку, ковырнула тушёнку в сковороде. – Я ведь понять хочу. Смотрю вот – мастер ты великий, стулья, стол какой, ножки резные. Сам ведь всё, да?

Митрохин кивнул.

– Ну, видишь! И Катька, видать, хозяйственная, занавесочки вон, половички. Чистенько... Только вот стол ты засрал, это да. Ну, тут – сам виноват. А так ведь – уютно живёте. Чего ж тебе надо? Чего не хватает-то?

Пока говорила она, Митрохин пошуровал в печке, подбросил дров. Потом подошел, склонился над ней – близко совсем, и чуть не шёпотом, чтобы слышала только она, как бы опасаясь спугнуть судьбу, выдохнул:

– Сына потерять боюсь, понимаешь? Диф-те-рию боюсь.

И пошёл, сел на своё место.

– Чего-о? – удивилась Лиза. – Откуда взял-то?

– Взял. Расскажу – не поверишь, а вот как родился Витька – живу в страхе. Ну, а Катерина... да, справная баба, и по дому, и всё такое.... Хм, половички... Не понимает она! Не-па-ни-ма-ит!

Свози, говорю, в Воркуту, проверь пацана. Может, прививка какая требуется. Смеётся, падла. Я ей посмеюсь! Научу свободу любить!

– Ладно, давай выпьем, – перебила Лиза, видя, что он опять заводится. Она с удивлением поняла, что трезва совершенно, не берёт почему-то водка ничуть. И Митрохин как-то странно пьянел. То, казалось, на пределе уже, вот-вот вразнос пойдёт, а то смотрел трезво совсем, говорил отчётливо, будто вовсе не пил. Хотя, судя по бутылкам на столе, немало выхлебал ещё до неё.

– Так при чём дифтерия-то? – прожевывая тушёнку с хлебом, спросила Лиза. – Её давно вывели, как чуму и холеру, что ли не знаешь? Нашёл чего бояться.

– Ладно, слушай. – Митрохин отгрёб от себя всё на столе, освободил место, чтоб руки положить. Говорил негромко, трезво совсем. – Я сидел, знаешь. Здесь, в Воркуте. Долго.

Лиза кивнула:

– Знаю.

– Вот. Но **как** я сидел, не знаешь.

Лиза снова послушно кивнула:

– Не знаю.

– И никто здесь не знает. Я не в шахте... И на стройке мерзлоту не долбил... Я в театре работал.

У Лизы округлились глаза.

– Нет, не артистом, какой из меня артист. Рабочим сцены. Сама видишь, – он оглядел комнату с резными полочками, шкафчиками на стенах, точёной самодельной мебелью, – кое-что умею. До войны столярничал. Ну, а после плена – сюда, на Воркуту. Как пришли этапом, формуляры составляли, спросили профессию. Я сказал – плотник, столяр. Наверно, потому и жив остался, в шахту **на общие** не послали. Поначалу кантовался в столярке, мебель начальству делал, а потом генерал Мальцев личным приказом в театр определил. Любил генерал свой театр... какие люди тут пели и плясали, знала б ты! Из московских, из ленинградских, да со всех лучших театров Союза! Все зэки. Политические. Знаешь песню «Широка страна моя родная»?

– Ну. Ещё бы!

– А кто её первый раз спел по радио? Знаешь?

– Нет. А кто?

– Дейнека. Был такой певец московский, в жилом бараке через две вагонки от меня обитался. Вообще-то вредный мужик, со всеми цапался, всё ему не так. Зануда. Но голосина! Лучшие

роли пел. Идём, бывало, по утрянке из жилой зоны в театр – колонной, под конвоем, а из репродукторов гремит эта «Широка страна» его, Дейнеки, голосом. И подначиваем его: «Ну как, Борис Степаныч, широка страна-то? От Москвы до самой Воркуты, лично теперь убедился?» У-у, серчал! Потом, правда, нам бесконвойные пропуска выдали, строим уже не гоняли. А поначалу... да...

Митрохин смотрел перед собой, мимо Лизы, в прошлое своё смотрел и улыбался. А Лиза думала: «Вот подобрел, слава Богу, самое время Катерину позвать, помирить их». Зэковских этих историй она наслушалась уже изрядно за время своего председательства и, этого сама не испытывая, удивляться и сопереживать не то чтобы перестала вовсе, а как-то утомилась. Однако слушала сейчас внимательно, разговор нужно было поддерживать: Митрохин мягчел от воспоминаний. А это ей как раз было нужно, чтобы миссию свою исполнить.

– Ты глянь, надо же! – сказала она. – Сам по радио и сам под конвоем! Осерчаешь тут... Слушай, Митрохин, а чего стаканы-то у нас пустые? Давай?

Митрохин вынырнул из прошлого, уставился на неё трезвым взглядом.

– Брось, не надо, – сказал он устало. – Зачем ты...

– Ну, как же, – смутилась Лиза. – Сам же начал...

Митрохин откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Прошла минута, другая. Стучали ходики над кроватью в углу.

– Ну что, – осторожно прервала молчание Лиза. – Катерину позовём? Они там уж замёрзли, поди...

– Не замёрзли, – спокойно, без всякой злости уже, отвечал Митрохин, не меняя позы. – Ты что думаешь, я не вижу, что затопили? И харчи там есть, и лежанка... Нормально там, не первый раз. Посидят. – Он открыл глаза, склонился над столом, поближе к ней. – Я вот с тобой хочу... Ты, может, поймёшь... Некому мне это... Не с кем мне...

– Ну, ну, – подбодрила Лиза. – Говори. Я слушаю тебя.

– Пацанёнок был там у нас. В театре. Виктор Николаевич. Лет пять ему было... да... ну, может, шесть. Но – Виктор Николаевич! Он сам себя так величал. Ну и мы, конечно. Сперва вроде в шутку, а потом привыкли. «Виктор Николаевич, подай молоток! Виктор Николаевич, ножовку не видел? Или – куда топор подевался?» Тащит, старается. Вроде бы тоже, как большой, пайку зарабатывает. Всё помнил, всё знал – где какой инструмент, подать, принести, позвать кого... Любили мы его... Как родного

любили – рабочие сцены, декоративного цеха, костюмеры, бу- тафоры – ну, вся обслуга, короче. Знаешь, как это... в лагере, когда своих ребяташек много лет не видишь... Свет в окошке был он для нас. И сам он тоже тянулся к нам, дети ведь чувству- ют. Ни в какой садик не хотел, только в «тятл». Мать его с утра забросит к нам по дороге на работу, она на Руднике где-то ра- работала, вольная. Отец сидел. «Плопил казённые деньги» – так Виктор Николаевич нам объяснял. Вот, утром, значит, оставит, вечером домой идёт – заберёт. А то и ночевал с нами, когда нам разрешали в зону не возвращаться – если пурга сильная, или перед премьерой, когда пахали сутками... Подкармливали его, как могли. «Виктор Николаевич, где водка продаётся?» – «В Особтолге», – отвечает. – «А сахар?» – «Тозе». – «За молоком сходишь?» – «Схозу». Уж куда-куда, а в Особторг дорогу знал хорошо. Посылали его частенько купить по мелочи – курево там, чаю, хлеба. Помню, за молоком послали с трёхлитровой бутылкой! Приволок, в охапку еле допёр, уморился. Сдачу в зубах принес. В другой раз вернулся с пустой бутылью. Ревёт, сопли размазывает. «На лубль молока не дают». – «Так тебе ж дали пятнадцать!» – «Они улетели», – говорит. А была пурга, надо ж было нам, дуракам здоровым, догадаться мальчика по- слать! Как его самого не унесло!

Митрохин сидел, обняв ладонями лысеющую голову, локти на столе, взгляд в столешницу. То ли рассказывал всё это Лизе, то ли вслух вспоминал. Улыбался по-доброму, глаза повлажне- ли...

– Сядем подхарчиться, хлеб начинаем делить, он всегда на- помнит: «Мне колочку!» Горбушку, значит. Знал ведь, как насто- ящий зэк: та же пайка, а сытнее...

Голос у Митрохина сорвался как-то, сиплым стал, однако справился он, прокашлялся, будто случайно это. Продолжал:

– Молоко кипятим, он тут же, глаза хитрющие: «Сахалу туда, сахалу побольше. Быстлей остынет». Мудре-ец! Знаешь, вот как сейчас вижу его. Старая, с большого плеча, фуфайка – до пола почти, рукава подрезаны, вата торчит. Ручонки в цыпках, шей- ка тоненькая... И глаза – синие, сторожкие, голодные... Зэчонок такой...

И снова сиплым стал голос Митрохина, он отвернулся – как бы в окно поглядеть решил, мазнул по глазам ладонью. У Лизы пронзительно защекотало в носу и тоже захотелось плакать – и от выпитой водки, и от любви к Виктору Николаевичу, и ещё – за компанию с этим здоровым плачущим мужиком. Но Митрохин

уже был в порядке. Он налил себе водки, в этот раз только себе, махом выпил, показалось мало, налил и выпил ещё.

– Я ведь сынишку в честь его Виктором назвал, – сказал он. Он у меня тоже Виктор Николаевич. Так-то вот. Пить будешь ещё?

– Н-нет... Хватит. Я уже и так...

– Правильно. Ни к чему тебе, я понимаю. Понимаю я... Погиб Виктор Николаевич.

– Что? – Лиза от неожиданности почти протрезвела. – Как это...

– А так вот. Однажды не пришёл. И день не пришёл, и два, и три. Мы премьеру готовили, работы было много, хватились не сразу, А потом узнали – умер. Дифтерия. За два дня сгорел малыш. Диф-те-рия. Страшное с той поры для меня слово. Катька не понимает... А ты? Ты понимаешь?

– Я? Я понимаю, Коля. – Откуда взялось это родственное «Коля», она не знала. Из души откуда-то. Он оценил.

– Спасибо. Зови Катьку, обедать будем!

Лиза смутно вспоминала потом, как пришла Катерина с ребёнком, как хлопотала с обедом, как вдвоём они, распеленав, показывали ей щекастого Виктора Николаевича со складками-перевязками на руках и ногах, и как покрикивала Катерина на безопасного теперь Митрохина, по поводу и без повода, а он улыбался, и как они провожали её к котласскому. Вспоминалось всё это потом смутно, урывками. А вот как подошёл поезд, она помнила хорошо. Видно, собралась в этот момент для главного – чтоб Митрохина уберечь от своих спасителей. И когда выскочили они, ещё на ходу, и рванулись к нему, заслонила она Митрохина, закричала – громче, чем стук колёс, чем шипение паровоза:

– Стойте!!! Всё нормально! Не трогайте его! Всё хорошо!

И они не тронули Митрохина. Они взяли её под руки, чуть ли не внесли на руках в вагон, поезд пошёл, и тут она засопротивлялась, норовя выглянуть, помахать на прощанье, и выглянула, и помахала, и последнее, что запомнилось ей – уплывающие назад две фигурки на белом снегу, маленькая и побольше, и свёрток в одеяле у маленькой фигурки на руках. Виктор Николаевич...

Лиза проспала тогда кряду восемнадцать часов.

*Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил.
Антуан де Сент-Экзюпери*

Гусиная охота – дело сидячее. Бывает так: затаишься в скрадке, часами ничего не летит, слушаешь тишину, ждёшь заветного «ка-га, ка-га», и нет его долго, бесконечно долго. А потом как-то сразу – налёт, стрельба чуть ли не навскидку, подряд, раз за разом, с одной стороны, с другой налетают, а потом опять – как отрезало: долгая тишь вековой тундры, чтобы тебе, разгоряченному суматохой, удачным дуплетом или досадным промахом, отдышаться, утихомирить бубнящее сердце, вернуться в стерильную тишь Вселенной, ощутить себя малой частицей непостижимой бесконечности её пространства и времени...

... Валера был молодым, гусиной охотой заразился недавно и усидеть на месте никак не мог – всё ему казалось, что над тем бугром, или над этим, или над дальней излучиной гусь идёт гуще, чем там, где он сидит. И он бегал, таскал профиля с места на место, подолгу нигде не усживался, чем отпугивал сторожку птицу, а если и налетало что – мазал, торопясь, расстраивался ещё больше, снова менял место.

Но я не об этом. Хотя это важно, это нужно сказать, чтобы понять остальное. Дело даже не в гусях. Дело в куропаче...

... Он был храбрее других. Или доверчивее. Я не знаю. Во всяком случае, когда я шёл к своему скрадку, он сидел на соседнем бугре и улетать не хотел. На грязно-жёлтом фоне прошлогодней травы, только-только освободившейся от снега, он был прекрасно виден – белый, с коричневой уже головой и шеей, краснобровый весенний боец в полной боевой форме. Пятьдесят шагов, тридцать, вот уже на верный выстрел, другой бы давно, завохтав, сорвался, а он сидел. Двадцать шагов...

– Ты что, не боишься? – сказал я ему. – Я же опасный, с ружьём. Я человек.

Он переступил с ноги на ногу, пригнулся пониже, но не взлетел. Глаз его, обращённый ко мне, настороженно отсверкивал в тусклом закате. Солнце, размытое дымкой, висело над горизонтом низко, лёгкие облака клубились, гнал их верховой ветер над тундрой, с юго-запада к океану.

Из любопытства перед такой смелостью птицы, хорошо мне знакомой, я остановился. Бывает, идёшь вроде бы мимо, и куропатка терпит, не взлетает, надеется, что пройдёшь стороной, не заметишь, но стоит остановиться, и всё, не выдерживает, не

рвишки у неё, суматошно уходит, поняв, что и так задержалась, подпустила до невозможности близко. А этот – сидит. Вжался в кочку поглубже, понимает, что на виду, белый на бесснежном бугре, а сидит. Не уходит.

– Ладно, – говорю ему вслух. – Я не опасен для тебя, я куро-паток на гусиной охоте не бью. Но откуда тебе знать это? Среди нас ведь такие есть – палят во всё, что летает, что движется, во всё, что живое. Откуда ты знаешь, что я не трону, что я не из них? Вот, видишь, ружье. Секундное дело...

Он не спорхнул со своего бугра.

Я прошёл мимо него в свой скрадок. Я возился там, устраивался капитально, надолго (на три дня прилетели), чтоб всё под рукой – манок, патроны, ружьё, чтоб обзор был – ветки поправлял, умащивался, чтобы сидеть удобно...

Он не улетал. Он сидел на своем бугре, в десяти шагах от меня, и наблюдал молча, насторожённо.

Я пошёл расставлять профиля, ходил, гремел ими, с ружьём наготове, весь обратившись в напряжённый слух – не гагакнет ли где? Так, сколько не пробегал мой взгляд по горизонту (гусь имеет привычку налетать именно в этот момент, когда отвлётся и не ждёшь его – именно в этот момент), каждый раз попадался на глаза тот самый удивительной храбрости куро-пач...

«Ну хорошо, – думал я. – Начнётся охота. Стрельба. Уле-тишь ведь». И уже было даже неловко перед ним – он здесь живёт, это его бугор, а я пришёл незванно сюда, чужой здесь, пришёл и уйду (в понедельник на работу), но успею стрельбой и шумом своим нарушить покой и извечное течение жизни на этом бугре среди бескрайней большеземельской тундры, жившей своим порядком до меня тысячи лет и после меня тысячи лет жить вековечно настроенной. Случайный гость и нежеланный, однако вот – прилетел, извините, придётся потерпеть, царь и покоритель природы, страсть у меня – весенняя охота на гусей. Придётся потерпеть...»

Налетели гуси, стрелял. Оглянулся – сидит, в кочку вжался, но не слетел, вовсе удивительно. Занял свой бугор – и ни с места. Молодец, мужик. Уважаю.

А потом опять – тишина. На часы. На долгие часы иной раз. Шевелиться нельзя (может налететь молча из-за спины: заметит – облетит), безмолвие полное, до звона в ушах, и вот эти часы ожидания – лучшее время гусиной охоты. Ради них и ле-тишь сюда из городской суеты, их ждёшь целый год, этих слад-

ких весенних часов, от мая до мая, никакой отпуск на морях и югах не даёт такого отдыха от повседневной суматохи города. Речка течёт, пожурчивает на шиверах. Льдины плывут. Плывут облака, и в каждом видится – то диковинный зверь, то лицо человеческое в причудливом шлеме, кобылица гривастая или дева с косой... Песец пробежал по угору на той стороне, лохматый, пёстрый, весенний, вынюхивает что-то у самой кромки воды. Взмывает бекас, бляя брачную песню свою в поднебесье, пичуга садится на куст, чик-чирик, блестит любопытным глазом: кто ты, откуда, я живу здесь всегда, и не было тут тебя раньше, с чем пришёл ты – с добром ли, со злом? Бояться тебя? Не надо бояться меня. Извини. Потерпи. Тебе я не сделаю зла. Чайка повисла над головой, разглядывает меня одним глазом, другим. «И тебе я не сделаю зла. Я ненадолго. Мне гуси нужны. Лети по своим делам, не мешай».

– Ква, ква, ква! Кабэба, кабэба!

Это заговорил мой бесстрашный сосед, куропач. Я успел забыть уже о нём в тишине этой тундровой, в ощущении необъятности мира, в этом пронзительно-вечном покое Земли и Вселенной, дарованном мне на мгновенье...

– Всё! Всё, всё, всё! – вдруг меняет тон мой сосед, и слышится мне в этом крике его, суматошном, надрывном, не просто квохтанье, как раньше, но тревога уже какая-то. Растерянность, что ли.

Скрадок сделан так, что сидишь – и не видно тебя, а сам видишь горизонт сквозь кусты, чтобы не прозевать гусиный силуэт в небесах, увидеть его раньше, чем он тебя. А поднимаешься в полный рост – широкий обзор, удобно стрелять, как бы гусь ни летел – низом ли, верхом, ничто не мешает. Но встал – и вся твоя маскировка уже не скрывает тебя, виден ты, чужероден в привычном пейзаже и опасен – огонь и грохот, смертельный свинец, и если приличный стрелок – тяжёлыми комьями падают гуси с глухим ударом о землю...

– Всё, всё! Всё, всё, всё! – опять истошно кричит мой сосед, и я поднимаюсь взглянуть, что там случилось. А ничего не случилось особенного. Весна. Тундра. И жизнь. Соперник прилетел на бугор, завязалась драка. Петухи. Именно этот бугор, оказалось, почему-то престижен для них, и претендент к моменту, когда я поднялся, уже начал теснить моего куропача (надо же – я уже знаю его «в лицо», у него от коричневой шеи два тёмных пера на груди, как раздвоенный галстук – раньше линять, что ли, начал?) и он отступал уже к дальним кустам и отчаянно причитал: «Всё, всё, всё».

– Эй, ты! – крикнул я, стоя в полный рост. – Пошёл вон! Это наш бугор!

Пришелец услышал меня, потом увидел, и дал дёру с паническим криком. Я думал – улетят оба. Нет. Мой сосед отряхнулся, торопливо взбежал на вершину бугра и, победно оглядываясь, вытянув шею, закричал окружающей тундре:

– Кабэба, кабэба, кабэба! Ква, ква, ква, ква! Кабэба, кабэба!

Так повторялось потом не однажды. И я уже знал: когда мой Кабэба кричит «кабэба», это значит «всё в порядке», но когда он кричит «всё, всё, всё» – надо выручать мужика. И срабатывало безотказно. Едва увидев меня, поднявшегося в рост, соперник в панике покидал поле боя, а Кабэба, отряхнувшись, семенил на бугор и победно орал:

– Ква, ква, ква! Кабэба, кабэба, кабэба! – мол, знай наших, не подходи, зашибу!

Так было и на другой день, и на третий. Налетали гуси, я стрелял, выходил подбирать, возвращался с добычей, и Кабэба помалкивал в эти минуты, но с бугра не слетал, и когда опять затихало, оживлялся, призывно кричал:

– Кабэба, кабэба, кабэба!

Его слышали. Разминая затёкшие ноги, я встал потоптаться во время затишья, когда гусиный лёт прекратился, и на бугре увидел уже двоих. Но второй была она. Она тоже уже начала линять, шейка и грудь утратили зимнюю белизну, появились пестринки, и она мирно паслась, что-то склёвывая на бугре, а Кабэба ходил вокруг, веером распутив хвост, и поквахтывал нежно.

Если боевой его клич, и победный, и даже растерянный в крутые моменты драки еще можно передать человеческим языком и буквами на письме, то этих звуков любви передать не берусь. Он отвоевал свой бугор, заслужил это счастье и говорил теперь на языке, понятном только им двоим...

Я не знаю, как он ей объяснил, но и Она не боялась меня. Я снова стрелял по гусям, выходил, поправлял профиля, возился в скрадке, а они буквально рядом, в десятке метров от меня, ничуть не смущаясь и не боясь, любили друг друга. И я, смешно сказать, чувствовал себя как-то причастным к этому состоявшемуся счастью новорожденной их семьи, будто оказался у друга на свадьбе после того, как нам вместе пришлось повоевать за невесту с парнями из соседней деревни...

... Вертолёт запаздывал.

Мы уже упаковали рюкзаки, свернули палатку, и погода вроде установилась лётная, а борта всё не было. Ружья не зачехляли пока (а вдруг налетит! – гусь любопытен бывает и необъяснимо беспечен порою, на голом месте может внезапно налететь на выстрел).

Молодой наш Валера и здесь не усидел, пошёл побродить – поблизости, мол, вертолёт услышу, прибегу. Помаячил неподалеку, потом ушёл за холмы, пропал из виду. Мы понимали его – с этой беготнёй с места на место он так и не взял ни одного гуся, а улетать «пустым» – кому охота! Пока не загрузились в вертолёт, всё еще есть надежда.

И точно – громыхнул выстрел из-за холмов. И порадовались мы этому выстрелу – если опять не промазал, значит «с полем» Валера. Судя по тому, что выстрел один, второй не понадобился – похоже, не промазал. Он не промазал. Он вышел из-за холма, улыбаясь, в одной руке ружье, в другой добыча. Две куропатки.

– Вот так надо стрелять, – весело сказал он, подходя. – Одним выстрелом сразу двоих! – И, бросив их к нашим трофеям, добавил: – Дурные какие-то. Подпустили вплотную.

У собранных рюкзаков, на влажной земле, рядом с крупными налитыми телами убитых нами гусей лежали два белых комочка. Пара тёмных перьев, как раздвоенный галстук, на груди одного из них – слиплась от крови.

Я в ответе за это...

НУЛЕВАЯ КИСЛОТНОСТЬ

Саня Федотов лежал в больничной палате инфекционного отделения и тосковал. Третью неделю он убеждал врачей на обходах, что здоров, что ничего давно уже не болит, стул нормальный, температуры нет.

– Рано, рано, молодой человек, – привычно говорил лечащий, поправляя пальцем очки на переносице. – Не торопитесь. Успеете в свою тундру...

А оказался здесь Саня с дизентерией. Жесточайшей. С потерей сознания и желудочным конфузом в машине скорой помощи. После того, как в чуме ненцев-оленоводо-в гостеприимно накормили их национальным блюдом – сырой рыбой «с душком». Восемь человек, считая водителя, были в вездеходе, все ели с голодухи эту рыбу, а заболел он один. Такое вот ве-
зение

Они выезжали всего на сутки, не больше – отбить первую точку под буровую для начала разведки нового угольного месторождения. Место пока незнакомое, там до них ещё не бурили, однако была карта-десятивёрстка и богатый, как были они уверены, опыт работы в тундре. Думали управиться быстро.

Ну, а попутно нужно было сменить бригаду на одной из работающих буровых – забросить туда новую смену, отгулявшую выходные, а отработавших своё буровиков вывезти на базу. Дело привычное, заурядный рабочий цикл.

Но главное было, конечно, – отбить точку. Это всегда торжественно и важно: от неё потом, от первой скважины, отмеряться будут по проекту разведки все буровые нового шахтного поля. Ошибиться нельзя.

И потому начальство решило, что доверить это важное дело молодому Федотову не совсем солидно, хотя геолог он опытный и не раз по ходу разведки безошибочно отбивал точки под новые буровые. Но это – на уже известном месторождении, на проложенных профилях.

Здесь – другое дело. Поэтому подстраховались и снарядили в маршрут ещё двух человек от Геолуправления – пожилого топографа Владлена Фомича и в помощь ему геодезистку Машу с теодолитом и массивной треногой к нему. В вездеходе едва хватило места.

Выехали пораньше, чтобы успеть обернуться за всё ещё короткий зимний день. Кончалась долгая полярная ночь, солнышко уже показало огненную свою горбушку над седыми отрогами Полярного Урала, а впереди, куда надлежало ехать, – бескрайняя тундра заснеженной равниной уходила за горизонт.

Тесновато было в вездеходе, пахло бензином от запасных канистр под сиденьями, однако, весело. Девушка в мужской компании – это всегда весело. Работяги-буровики, гораздые на солёные шуточки, подмаргивали друг другу и ржали, заглушая рёв и лязг вездехода, Маша смущалась и неловко отшучивалась, а Саня, сидя с нею рядом, страдал и краснел, как всегда, когда в присутствии женщин вот так двусмысленно шутили. Тем более что симпатичная Маша ему нравилась, и он, забегая по делам в геолотдел Управления, норовил, нужно было или нет, по малейшему поводу спросить у неё совета. Уютно и тепло было ему в общении с нею...

Саня Федотов был романтиком. Его воспитала мама, учительница географии, и он с детства мечтал о путешествиях и подвигах во имя любимой женщины. Трепетное отношение к

этой загадочной половине человечества было внушено ему не только маминым воспитанием, но и книгами, которые он запоем читал как раз в том возрасте, когда из мальчика прорастает мужчина. И так близко было ему ощущение его любимого героя у Джека Лондона, моряка Мартина Идена, который удивлялся, что вишни оставляют след на губах его любимой, будто она не божество, а обыкновенная женщина. Саня мечтал именно о такой любви – с подвигами во имя избранницы, алыми парусами и романтическими путешествиями со смертельной опасностью...

Ещё в подростковой поре ему попала книжка о молодом геологе, который в Уссурийской тайге с дивными приключениями искал затерянное в сопках золото и попутно спасал от когтей тигра любимую девушку. И Саня понял тогда – эта профессия для него.

Годы спустя, работая в геологии, он, однако, изрядно насмотрелся на «геологинь» в грубых штормовках с сиплыми от курения и вечных простуд голосами, с обветренными, далеко не ангельскими лицами. Но мечта об идеале не умерла. И по-прежнему ему было неловко, когда матерились при женщине или похабно шутили, и хотелось пресечь, и угнетало, что это было бы глупо и бесполезно...

Вездеход резво бежал по заснеженной тундре и ничто, казалось, не предвещало неприятностей. Всё шло, как намечали ещё на базе. Сменили работяг на буровой и, не теряя времени, сразу же двинулись дальше – искать намеченную на карте точку. Владлен Фомич, сидя рядом с Васей, водителем, прокладывал курс, будто лоцман в открытом море, где, как и в зимней тундре, нет никаких ориентиров. Время от времени старый топограф останавливал вездеход, вылезал, кряхтя и вздыхая, на снег, отходил подальше, чтобы железо машины не влияло на стрелку компаса, брал направление и, сверившись с картой, возвращался. Ехали дальше. Эти остановки сильно тормозили движение, и к вечеру они не только не добрались до цели маршрута, но, судя по спидометру, не прошли и половины пути.

Заканчивался зимний полярный день, быстро темнело, и скоро даже с включёнными фарами уже ничего впереди не было видно. Пришлось остановиться. Тем более – проголодались, и уже жалели, что на буровой не стали обедать, хотя дневальная Катя предлагала перекусить. Доедали, что у кого нашлось. Первая эта ночёвка прошла нормально, с прибаутками и с шутиливой борьбой – кому сидеть рядом с Машей, грея её и от неё

согреваясь. Впереди у буровиков были «длинные» выходные, и они от души веселились.

С рассветом тронулись дальше. Ехали долго, без остановок, вездеход трясло на буграх, на мёрзлых кочках, где снегу поменьше.

На одном из таких бугров Маша прижалась плотнее к Сане, сказала так, чтоб никто больше не слышал:

– Можно остановиться? На минутку.

– Остановиться? Сейчас? – не сразу сообразил он.

– Да, – смущённо потупилась Маша.

Саня понял. Они сидели далеко от кабины, ревел вездеход, и он крикнул буровику, сидевшему впереди:

– Ширяев! Скажи Васе, пусть остановится!

Тот удивлённо уставился на Саню.

– Ну... нужно! – Саня глазами указал на Машу. – Давай!

Ширяев улыбнулся, кивнул, крикнул в кабину:

– Вася, тормози!

– Чего? – не расслышал тот.

– Тормози, говорю! Тут кой-кому посцять припекло!

– Ширяев! – возмутился Саня. – Ты как... Ты что! Как ты можешь!!!

– А чо? – невинно удивился буровик. – Я ничо! Сам же сказал – остановить. Ну, нет, так нет. Вася! Передумали, ехай дальше!

– Нет, нет, остановите! – взмолилась Маша. – Пожалуйста!

– Ну вот, – усмехнулся Ширяев. – Вася, стой! Обратное передумали!

Остановились. Смущённая Маша полезла через борт, один из буровиков привстал:

– О, я тоже хочу...

– Сиди! – рявкнул на него бурмастер Глущенко. – Перетерпишь!

У Сани от стыда горели уши...

Они проехали ещё несколько километров, когда погода начала меняться – внезапно и круто, как всегда зимой в Заполярье. Небо затянули глухие снеговые тучи, ветер погнал позёмку, и скоро закрутила пурга, перекрыла всякую видимость. Какое-то время ехали ещё по инерции, но Владлен Фомич теперь уже не мог ничего корректировать. И неизвестно было, как это надолго. Пурга в тундре, бывает, и неделями крутит без перерыва...

Поубавилось веселья, приутихли буровики, а потом и вовсе взбунтовались – в выходные свои кровные в тундре торчат!

Мы так, мол, не договаривались давайте поворачивать на базу, жёны ждут дома, детишки соскучились, да и жрать охота, кто знал, что так выйдет, с собой почти ничего не взяли.

Бурмастер Глущенко наклонился к Сане, сказал:

– Решай, Иваныч! У ребят выходные, да и мне на базу надо, наряды закрывать. Тут, похоже, ловить нечего.

Саня был моложе большинства работяг, поэтому все обращались к нему на «ты», но по отчеству. Он тоже всем говорил «ты», кроме Глущенко. Тыкать бурмастеру было неловко.

Но сейчас Саня был главным здесь, даже для Глущенко. Старика топографа из Управления они не знали вообще, Машу всерьёз не принимали, а вот геолог – это да, это начальство. Он командовал, где забуривать новую скважину, на какой глубине встречать пласт, когда с керном бурить, короткими рейсами, а когда можно шарошкой, по-быстрому, он, наконец, категорию ставил. От него, именно от него зависел заработок буровика, и потому главнее для них начальства не было. Не считая, конечно, бурмастера, который был хозяином на буровой, бригадиром, и решал все дела по хозяйству, быту и снабжению – всё, кроме геологии. Сейчас же решать должен был именно Саня – ехать дальше искать эту точку или возвращаться на базу.

И он решил возвращаться.

Владлен Фомич попытался было робко возразить, но только так, для порядка, ибо тоже всё понимал, но теперь ему предстояло прокладывать обратный путь, а он не знал, куда ехать. Он не знал точно, где они сейчас, потому что какое-то время ехали наугад, и какой азимут брать для пути на базу – было неясно. Но он был старый полевик и понимал, что показывать растерянность нельзя, будет паника и разброд, а среди тундры в пургу нет ничего страшнее...

Нарочито не торопясь, он выбрался из вездехода в глубокий снег. Двигая поднятыми локтями, будто шёл через реку вброд, удалился на десяток шагов, поколдовал, сгорбившись, над компасом, жестами показал Васе, как следует развернуться, забрался, кряхтя, в кабину.

– Только прямо, – сказал он. – Рычаги не трогай.

– Понятно, – ответил Вася.

И они поехали.

Буровики снова повеселели, и только Саня и сам топограф, только они двое отчётливо понимали, что едут наугад. Да и Маша погрустнела. Ей, как геодезисту, не совсем было понятно, как Владлен Фомич определил направление после двух суток

блуждания по тундре, но она очень, очень хотела верить, что его опыт не подведёт.

А тем временем и этот, третий день пути подходил к концу, быстро темнело, и уже понятно было, что снова придётся ночевать в вездеходе. Нестерпимо хотелось есть – уже третьи сутки ни крошки во рту.

Спали плохо. Вася всё реже включал печку, экономил горячее, но и это тепло быстро выдувалось пургой. Мёрзли ноги, и уже, казалось, не греют друг друга прижатые тела.

А пурга не думала утихать. За ночь с подветренной стороны наметало сугроб выше верхних траков, и прежде чем тронуться с места, приходилось буквально откапывать заметённую машину – благо, у Васи всегда в кузове была пара лопат на подобный случай. Работали молча, и только однажды бурмастер Глущенко попрекнул Саню, перекрикивая рёв пурги, так что работяги слышали тоже:

– Раньше надо было поворачивать, Иваныч!

– Отвезли б нас на базу, – тут же подхватили остальные. – А тогда и искали бы свою точку! Уже дома были б давно...

– Ладно, всё! – оборвал бурмастер. – Вася, заводи! Давай, давай, Фомич, залезай! – помог он топографу подняться в кабину, забрался в кузов последним. – Поехали!

Само собою вышло теперь, что не Саня уже, а бурмастер стал главным в этой компании. Не геолог был нужен сейчас, нужен был командир, и Глущенко естественно принял команду.

Надрывно ревел мотор, скрипел металлом изношенный кузов вездехода, молча сидели, дёргаясь от толчков, совсем приунывшие буровики, и уже день подходил к концу, когда в просвете пурги на дальнем бугре, как мираж, показался оленеводческий чум. Вася крутанул рычаги, прибавил скорость, и вот уже под бугром в ложине возникло стадо плотно сбившихся в кучу оленей, а потом на шум вездехода вышли и хозяева чума...

Не бывает в жизни, наверное, ни худа без добра, ни добра без худа. Ну, с добром понятно – оленеводы оказались очень кстати, потому что ехали наши герои, как выяснилось, в голую тундру, мимо города и базы своей, и это, без вариантов, кончилось бы печально. Так что добро было для всех, а вот худо – для одного Сани...

Жадно набросились на еду путешественники, даже Маша не побрезговала этой сырою рыбой «ненецкого посола». Спали в чуме, и это казалось счастьем – быть сытыми и спать лёжа,

в тепле, а не сидя в железном промёрзшем чудовище. За ночь, как по заказу, пурга утихла, видимость – до горизонта, хозяин чума подробно растолковал Владлену Фомичу, как ехать до ближайшей буровой, а там уж они – дома, пути наезжены.

К вечеру были на базе. А ночью Саню из общежития геологов без сознания увезли на «скорой», и началась эта его больничная эпопея с уколами, капельницами, персональным горшком №19 и остальными прелестями инфекционного отделения. Навещали ребята, и он узнал, что заболел один, больше никто, и стало досадно – надо же было поймать именно ему эту единственную вонючую рыбу!

Перед выпиской нужно было заново сдать анализы, и в числе прочих – глотать «кишку» для определения, как ему объяснили, кислотности желудка. Он сидел в коридоре лаборатории, уже выписанный, одетый в своё, готовый ехать на работу в тундру и продолжать жить нормальной жизнью, и ждал последнюю бумажку для справки в поликлинику по месту жительства. Наконец, вышел пожилой лаборант с этой долгожданной бумажкой в руке, но сразу не отдал её Сане, сел на стул рядом с печальным видом.

– Вы не волнуйтесь, – сказал он, и у Сани засосало под ложечкой. – Ничего страшного, – сказал он, и Саня вовсе упал духом.

– Что? Что такое? – растерянно спросил Саня.

– Ничего страшного, – повторил лаборант. – У вас нулевая кислотность.

– Ну и что? Это плохо? Что это значит?

– Ну, хорошего мало, сказал лаборант и отвёл глаза. – Но вы не переживайте. С такой кислотностью люди по пять, по семь лет живут...

Услышать такое в 25... Саня даже не сразу понял, что это – приговор. Пять-семь лет... а только начал жить. Пять-семь лет...

С этим приговором он вернулся на базу, в свою комнату в общежитии геологов, с этой неотступной мыслью сдал бюллетень в бухгалтерию и отнёс выписки своей лечащей докторше в поликлинику по месту жительства. И удивился, когда она, прочтя бумажки, спокойно сказала:

– Так, понятно. Будем лечиться.

– А она...это...Она излечима?

– Кто? – не поняла докторша.

– Ну, эта... кислотность.

– О господи, конечно! Я дам тебе направление, предъявишь в свой профсоюз, пусть путёвку дадут. В Железноводск... – она

помедлила. – Да, в Железноводск, там водичка хорошая. Как раз то, что надо. Попьёшь – будешь как новенький. И прекращай есть что попало, – говорила она, уже выписывая ему нужную бумагу. Поаккуратней с едой. Всё, иди. Зови следующего, пусть заходит.

Саня никогда не бывал в санаториях, всё здесь для него было внове. Ему выделили койку в палате на четверых, объяснили распорядок жизни – когда воду пить из источника, когда завтрак-обед-ужин, провели в столовую и показали столик, где три места были уже заняты, а четвёртое – его, на весь срок пребывания. Вручили курортную книжку и... всё, делай, что хочешь.

А что он хочет? Он не знал, куда себя деть в промежутках между этим питьём воды, трёхкратной едой в пищеблоке и бесцельными прогулками по непривычной для него, северянина, территории с кипарисами, папоротниками, рододендронами и прочей экзотической флорой.

Но вот со столиком в столовой, кажется, повезло. Пожилая семейная пара и... очаровательное существо, голубоглазая блондинка с точёным носиком, пухлыми губками и капельной родинкой на левой щеке. Кажется, именно такой представлялась ему та единственная, ради которой не то что с тиграми в тайге – со всем миром он готов был сразиться, чтобы завоевать её любовь. Она сидела за столом одна, три стула были свободны, и один из них был предназначен ему, Сане Федотову. А на столе – овощной салат и стаканы с кефиром. Завтрак.

– Здравсьте, – пробормотал Саня, отодвинул стул, сел. – А-а-александр, – представился он.

Она взмахнула ресницами, и у него перехватило дыхание.

– Здравствуйте, – сказала она, помедлив. – Меня зовут Таня. А вы – Александр? Странно...

– Почему странно? – не понял он. Кефир был сладковат.

– Моего доктора тоже зовут Александр. – Она говорила медленно, нараспев, и это к ней очень шло. – Он сказал, – продолжала она, – что сегодня у меня мягкий живот...

Саня поперхнулся кефиром.

– Он сказал, что это хорошо, – добавила она.

– Ну... – промямлил Саня, – мягкий живот... это да. Это хорошо.

– Да, – сказала она. – Был твёрдый все эти дни. А сегодня мягкий.

– Ну, наконец-то! – Саня уже пришёл в себя и соображал, как поддержать разговор. – Твёрдый – это плохо, а мягкий – совсем другое дело...

– Вы смеётесь, а это серьёзно. – Она уловила иронию. – Вы ведь новенький? Да? Новенький? Я вас раньше не видела.

– Да, я вчера приехал. С Севера. Я геолог. У нас там, знаете, ещё зима полным ходом, снег лежит... – Саня пытался перевести разговор.

– А с чем вы здесь? – не дала ему Таня это сделать. – Что у вас болит?

– Ничего не болит, всё нормально. Здесь вот цветёт всё, весна давно, а у нас там...

– Ну как же... Если нормально всё, почему вас сюда направили? Что-то с желудком, наверное, да? С пищеварением?

Саня ответить не успел – пришли те двое, пожилые супруги, о которых говорили ему, когда показывали его место в столовой.

– О, у нас новенький! – радостно воскликнула дама, шумно двигая стулом. – Теперь у нас полный комплект. Будем знакомы! Вера Ильинична. А это – Аркадий Львович.

– Привет, – буркнул Аркадий Львович.

– Так с чем вы здесь?

Саня затосковал.

– Да ерунда, – отвечал он. – С кислотностью что-то.

Лицо Веры Ильиничны из приветливого стало сосредоточенным.

– Кислотность, молодой человек, это не ерунда. Это очень, очень важный показатель...

– А вот у Тани всё хорошо, перебил Саня начатую было лекцию о кислотности. – Живот у неё мягкий.

– Ну вот, Танюша, я же говорила, что клизма должна помочь. А ты боялась. При запорах это верное средство...

– Да, доктор Александр тоже так говорит, – пропела Таня своим ангельским голосом. – Да, я боялась. Очень. Вначале, правда, было больно, а потом ничего...

Саня уже не знал, куда деваться. И уже не казалась ему Таня верхом совершенства и воплощением мечты, и всё это слушать за завтраком было мучительно и неловко. Тем временем они от клизмы, её достоинств и изъянов, перешли к вопросу – какая пища что стимулирует. И Таня, всё так же нараспев, задумчиво произнесла:

– Доктор Александр говорит, что пища, конечно, влияет, не зря ведь назначают диету. Но он сказал: «Мы какаем не пищей, мы какаем калом». Поэтому судить...

Это было последней каплей. Саня закашлялся, овощной салат застрял у него в горле. Слушать такое из прелестных Таниных уст было выше его сил.

Задолго до конца срока путёвки он сбежал из санатория, вернулся домой, в тундру, к родным буровикам, к привычной работе. И после того, как лечащая врачиха в поликлинике, пожуриив для порядка за досрочный побег, сказала: «Не думай о болячках. Ешь то, что хочется. Организм лучше нас, врачей, знает, что ему надо» – о кислотности своей более не вспоминал.

Профессор, доктор геолого-минералогических наук Александр Иванович Федотов сидел на веранде своего подмосковного дома и ковырял ложкой сваренную женой специально для него диетическую овсяную кашу. Как-то в шутку он подсчитал, что за 50 лет совместной жизни супруга накормила его 48 тысяч раз. Он исключил полевые сезоны, целевые экспедиции, командировки, в том числе зарубежные, другие долгие отлучки, какие смог вспомнить, и получилась такая вот цифра. Чего это стоило ей? – подумал он тогда. Время им выпало непростое, и чтобы накормить мужа, а потом ещё детей и внуков, его Ольге Петровне нужно было, отработав в школе свои часы (она, как и мама Александра Ивановича, была педагогом), по пути домой выстоять не одну очередь в магазинах, дома приготовить из купленных продуктов еду и, наконец, позвать:

– Саша, иди кушать!

А Саша ещё и шёл-то не сразу – что-то там не дописал в кабинете своём, или недочитал чью-то очередную диссертацию, и возмущался, когда звали повторно:

– Ну, ты идёшь?

– Да иду, иду! Минуту подождать не можешь!

– Я-то могу. Остынет всё.

И так – 48 тысяч раз...

Была его Ольга Петровна не просто педагогом, а заслуженным учителем республики с орденом «Знак Почёта» и множеством ведомственных дипломов и почётных грамот. Однако семья для неё оказывалась важнее всех наград, и Александр Иванович очень это ценил – любая другая давно бы уже устала от бесконечных его экспедиций и научных командировок.

Она не устала...

Итак, сидели они за столом на веранде, не спеша завтракали и говорили... о здоровье. Потому что в жизни каждого человека наступает время, когда приходится об этом говорить.

– Давление мерила? – спрашивал Александр Иванович.

– Мерила, мерила, – отвечала Ольга Петровна. – Нормально. – Изжога что-то мучит. Тебя не мучит изжога? – озаботилась она, наливая кефир в два изящных стакана из тонкого стекла.

– Нет, мамочка, ты же знаешь, при нулевой кислотности изжоги не бывает, – отвечал Александр Иванович. – У меня её никогда не бывает. А вот запоры – да. Запоры достали уже. Не знаю, право. Может – клизму? Старую добрую клизму, а? – улыбнулся Александр Иванович.

– Нет, Сашенька, это вредно. Нарушает там какой-то обмен. Говорят, нужно есть грубую пищу, она стимулирует перистальтику.

– Не помню, где это я слышал... – Он отодвинул недоеденную кашу, взял стакан с кефиром. – По-моему, врач какой-то сказал... «Мы какаем не пищей, мы какаем калом». Так что пища тут вряд ли влияет. Надо, видимо, всё-таки клизму попробовать. А как у тебя? Нормально с желудком?

– Да так... по-разному. Но терпимо, терпимо... Изжога вот только...

Всходило солнце. День обещал быть хорошим. Из окна веранды был виден сад, цвели вишни, и в центре уютного дворика, на клумбе, за которой так любила ухаживать Ольга Петровна, начинали распускаться тюльпаны.